

Геннадий Калашников

В центре циклона

Геннадий Калашников

В центре циклона

Москва
«Воймега»
2018

УДК 821.161.1-1 Калашников
ББК 84 (2Рос=Рус)6-5
К17

Дизайн серии: Сергей Труханов

Г. Калашников
К17 В центре циклона. — М.: Воймега, 2018. — 72 с.

ISBN 978-5-7640-0217-0

© Г. Калашников, текст, 2018
© С. Труханов, оформление, 2017
© «Воймега», 2018

* * *

На земле, на воде не оставишь следа,
жизнь богата и так скудна,
камениста земля, и у дна вода
не такая, как не у дна.

Ты всю жизнь играешь в нечет и чёт,
твое время идёт на слом,
океанской волною о берег бьёт
подмосковный твой водоём.

Этой лёгкой волны ледяной перелив,
эта ржавая жадность глин,
сердцевина воды, сердцевина земли,
сердцевина всех сердцевин.

Затихает времени длинный гул,
всё некстати, не <прзб>, вразброд,
шевелюру взьерошил, в лицо дохнул
узкий ветер иных широт.

Нынче день какой — четверг, среда?
А ты ещё не одет, не обут...
Камениста земля, вода тверда.
Когда понадобишься — тебя найдут.

* * *

Никогда не пора,
ни в ночи, ни с утра,
погоды у воды, ледяным повернувшейся боком.
Кто-то смотрит на нас,
словно тысячью глаз,
то ль одним, но всевидящим оком.

Пусть запомнит вода
рыбака невода,
птицелова силки и упрямые петли погони.
Прячет омут сома,
смотрит осень с холма
из-под тонкой, прохладной ладони.

На миру, на юру,
на бытийном ветру
из живущих никто не пропущен.
Дальний выстрел в лесу
постоит на весу
и рассыплется в чащах и кущах.

Смотрит осень вприщур,
зинзивер, убащур
и прорехи, зиянья, пустоты.
Что ты медлишь, Творец,
расскажи наконец
про твои золотые заботы.

Ведь запомнит вода
у запруды пруда,
что не входят в поток её дважды,

то, что свет — это тьма,
что открылись с холма
горизонта с полями пространные тяжбы,

медь и камедь сосны,
свет молочный луны,
облаков невесомые битвы,
блеск плотвы, плеск листвы,
шум травы-муравы,
гон твоей каждодневной ловитвы.

Буквы

1

Муравьиный Крит,
волны бьют упрямо,
учат алфавит:
альфа, бета, гамма.

Белый теплоход,
рябь теней как смальта,
всё наоборот:
гамма, бета, альфа.

Было и прошло,
дебет, кредит, смета,
время истекло:
альфа, гамма, бета.

2

Ночь напролёт
с призвуком меди
ветер поёт —
аз, буки, веди.

Так говорят
после разлуки —
всё невпопад:
аз, веди, буки.

Минуйте ны,
порча и сглаз.
Веди темны,
буки страшны,
есмь аз.

* * *

Жил Пьеро на станции Перово,
что по меньшей мере нездорово.
Как в сердцах заметила Мальвина —
жизнь — не развесёлая малина.

Оплыла Мальвина и поблёкла,
стала не то брюква, не то свёкла.
Он и сам утратил тонкость кости
сторожем в Кузьминках при погосте.

И, давно к романтике не склонны,
свищут Буратины по притонам,
шушера, Шушара, мишура,
с Карабасом водку пьют с утра.

Песни здесь — на «ды», на «го», на «ду»,
про кирдык и Вологду-ду-ду,
Учкудук, Надым, Караганду...
И Сидур, согнув гранит в дугу,
угадал про эту кергуду.

Я и сам порой здесь появляюсь,
как на фотоснимке проявляюсь,
сквозь метель, сквозь дымную пургу,
сам с собою сладить не могу.

Вечером бреду иль спозаранку,
жизнь свою читаю наизнанку
по своим же собственным следам...

Здесь, в чужих пределах и притинах,
всё ищу волшебную картину,
где очаг затянут паутиной,
где не всё уж так непоправимо,
где сверчок в рубашке из сатина
азбуку читает по складам.

* * *

День начинается. Тень, поселившаяся на стене,
протирает горло и перья чистит,
дерево само по себе шумит в стороне,
дождь на ощупь пересчитывает на нём листья.

Приметы прошлого очевидны, а грядущего — нет,
близоруко вглядываюсь в дальнорюккие горизонты,
вопрос не задан, но готовлю ответ,
так на всякий случай берут с собой зонтик.

И действительно, наклонившись низко ко мне,
небесный яхтсмен или воздушный дайвер
что-то спрашивает, слышу его не вполне,
но отвечаю, что груз на плечах и свет в окне
ничего, не гнетут, вообще — не давят.

* * *

Тупить конкретно, реально глючить,
попасть на бабки — говно вопрос,
жизнь по-любому тебя ущучит —
в Бобруйск, под плитус, в Лос-Анджелос.

Что гнуть понты, топырить пальцы,
когда по улицам пошли гулять
туркменский сом, юань китайский,
а с ними вместе япона мать.

Олдовый чел, лох деревенский,
чего со временем тебе делить,
бычок в томате, стул гнутый венский,
моржовый хрен, нажми delete.

Лязг, дребезг времени железный.
Над кем смеяться, грустить о ком?
Есть упоение над бездной.
Край. Точка ги и точка сом.

* * *

Я не знаю: не сплю или всё же уснул,
если сплю, то тогда мне снится
чистая, как поле под Тулой, страница,
если сплю, то к столу притулился стул
и больше не шевелится.

Это комната. У столов и стульев нрав и повадки угрюмы,
не то — буфет, с его перезвоном рюмок,
или комод, где ты сберегла
ворох пёстрого барахла.

Если сплю, то ни хмур, ни весел,
по широкой реке в лодке плыву без вёсел.
По реке в лодке — впрочем, я и не против, —
ни хмур, ни весел. Скорее — по, чем — против

течения. Дремлю, сидя у трапа на чемодане,
я покинул комнату, и, едва переведя дух,
вещи начали говорить о том, о чём никогда не
решались при мне говорить вслух.

А на реке крикает селезень, зудит слепень, молчит слизень,
так, словно талой воды набрал полон рот,
и здесь даже самая точная мысль о жизни
отражается и становится мыслью наоборот.

Мысль о жизни вручную перемальывает время в деньги,
по сторонам не смотрит, сама собой до краёв полна,
и о том, что бессонница — это *modus vivendi*,
ей расскажет флора, растущая в урочищах и по обочинам сна:

валериана, шалфей, зверобой, пустырник,
окопник, сабельник, мак-пустоцвет не в счёт,
иван-чай, цикорий, укроп и любой кустарник
распаривается, заваривается, настаивается и идёт в ход,

шелестит в изголовье, шуршит в изножье,
ночной птице и всяческой фауне даёт приют.
А река всё течёт, передёргивая озябшей кожей,
меньшие братья пищевые цепочки куют.

Ладно, пусть волки хвастаются, хвастаются, хвастаются клыками,
пусть ворон точит, точит, точит свой клюв о камень,
а ты, ночная птица, сипи, сипи, сипи:
Гена, не спи не спи не спи не спи...

* * *

Ночью, под боком Москвы, куда —
неизвестно, но зато известно — откуда...
Над ноябрьским лесом скупая звезда,
за лесом погромыхивают поезда,
словно, вытерев, в буфет составляют посуду.

Мёрзлые кочки, и путь крут,
обогнув планеты тяжёлый круп,
узкий ветер грозит простудой...
Удавалось ли вам совершить круг
и вернуться туда — откуда?

Чтобы обдумать и дать ответ —
протяжное «нет» или краткое «да» —
отвлечёмся к деревьям: листвы нет,
и неизвестно теперь — когда.

* * *

Дно колодца мерцает, дробится — то ли
зеркало, то ли глаз кита, на спине которого лежит Земля.
Дом стоит на пригорке, за перелеском пустое поле
да бурун облаков от проплывшего небесного корабля.

Спорят с ветром деревья, вскипают и даже,
выворачивая листву, переиначивают своё естество.
Весь набор: свет и тень, необходимые для пейзажа,
как и прочие — крупные и мелкие — части его.

Циферблат небосвода всегда педантично точен:
по-имперски безлик, облаков принимая парад.
Здесь подробностей нет, лишь сплошное зиянье и прочерк,
ибо точен и сух небосвода слепой циферблат.

Это бездны следы, на лазури её отпечатки,
это вечности цепкий, недвижно-внимательный взгляд.
Сохраняется всё на фасетчатой влажной сетчатке:
никуда не уйдёшь, никогда не вернёшься назад.

Неподвижно плывут облака, циферблат никогда не проснётся,
дом стоит на пригорке, и в этом какой-то расчёт.
А река под горой и вода в подземелье колодца
всё течёт, Гераклит, всё течёт, и течёт, и течёт.

* * *

Я сослан в немоту, туда, где уже давно Макар и телята,
где зимуют раки,
где в бубен бьёт и старым сухим ребром
играет мой ровесник бес,
где в логове слов над листом бумаги
согнулся, высунув перо и язык, Акакий
Акакиевич, перебеливая циркуляр,
спущенный по инстанциям ему с небес.

Плачь не плачь, утони в слезах, но, если,
если тебе изменила Муза,
если над притяжением, над упругой волной словесной
утрачена власть,
что тебе жар глаголов, тяжесть существительных,
клейковина союзов
и наречий неверная, невесомая и не очень понятная вязь?

Я — ловец и добыча, живу у словесной реки,
вдоль её гужевого потока,
там, где бог из плавучей машины, как капитан Немо,
вываливается и подслеповато щурит глаза,
я бреду вдоль течения, бесполезными жабрами хлопая,
как после потопа,
и в обратный бинокль, пролетая,
безмолвно глядит на меня стрекоза.

Я молчу, я молчу, я молчу, я молчу, покуда по верхней
стороне воды медленно приближается утлый,
угрюмый чёлн,

и впустую перебираю мерёжи синтаксиса,
трясу грамматики верши:
где откуда куда вот теперь и если впрочем
будто и уже ни при чём...

* * *

Не помня про меня,
скупой глотая воздух,
бредёт любовь моя
по электричкам поздним.

Прижавшись лбом, во мрак
глядит через окно:
шлагбаум, дом, овраг —
не всё ли ей равно?

Мелькает карусель,
снег падает и тает,
и звёздная свирель
над нами не играет.

Умолкла наша высь
и не могла иначе,
постукивает жизнь
на скорости незрячей.

Запахнуто пальто,
распахнута окрестность
и понимает, что
нам больше не воскреснуть.

* * *

В притихшем парке вдалеке
оркестр играет под сурдинку,
моторка на Москве-реке
стучит, как швейная машинка.

Мне жаль осеннюю швею,
она весь день кроит, кромсает.
Твою судьбу, судьбу мою
швом сострочить не совладеет.

Струят последнее тепло
сухие плиты парапета.
Спрошу — и не дождусь ответа,
и лето в Лету отошло.

Над попрозрачневшей водой
под тонким небом серебристым
мелькают велосипедисты
по эстакаде ветровой.

Они промчатся в даль и в тень,
и в колесе сольются спицы.
Запомнить музыку и день —
он никогда не повторится.

* * *

Ночная река, расширяясь, беззвучно уходит во тьму,
там что-то дрожит и пульсирует слева,
поток замирает, и низко склонилось к нему
бессонницы серое голое древо.

Тяжёлая птица сутуло сидит на суку,
из мрака во мрак переходит неясная нежить.
Прихлынет волна — про любовь и тоску,
отхлынет волна — про разлуку и нежность.

Такая любовь, что и ельник горбатый колюч,
такая разлука, что реку сгибает в излучку.
Сквозь чёрную воду мерцает серебряный ключ,
и больно туда опустить ослабевшую руку.

Как страшно река обрывается: сразу и вне
любых оговорок, всплывает изглоданный ревностью камень,
дробится луна на беззвучной покатой волне,
и рыбы плывут и луну задевают боками.

* * *

Как рыбы, всплываем в пятно зари.
Горизонт расправляет плечи.
Суша уходит в море при
любой их даже случайной встрече.

Мы добровольно идём в метро,
глядя без интереса
на плиты мрамора, то есть ретро-
спективные снимки процесса

творения. Обузданный хаос заснят врасплох,
хищные отблески крупнозернисты.
Этот альбом перелистывал Бог,
Босх, наверное, тоже его пролистывал.

Хляби вечности близко, а берег уже вдали,
прогремим-простучим над холодной рекою.
Оглянусь и увижу — с осколка земли
ты мне машешь рукою.

* * *

Прощай, прощай... Я не вернусь назад.
Смотри — уже не жалею, не плачу.
Какой-то полустанок, старый сад...
Чего стыдиться нежности собачьей?

В суровом августе огромный звездопад.
Качнулся мир и по-иному замер.
Никто не спит, нигде вообще не спят,
лишь облака с закрытыми глазами.

* * *

Последний трамвай, золотой вагон, его огней перламутр,
и этих ночей густой самогон, и это похмелье утр,
как будто катилось с горы колесо и встало среди огня,
как будто ты, отвернув лицо, сказала: живи без меня, —
и ветер подул куда-то вкось, и тени качнулись врозь,
а после пламя прошло насквозь, пламя прошло насквозь,
огонь лицо повернул ко мне, и стал я телом огня,
и голос твой говорил в огне: теперь живи без меня, —
и это всё будет сниться мне, покуда я буду жить,
какая же мука спать в огне, гудящим пламенем быть,
когда-то закончится этот сон, уймётся пламени гуд
и я вскочу в золотой вагон, везущий на страшный суд,
конец октября, и верхушка дня в золоте и крови,
живи без меня, живи без меня, живи без меня, живи.

* * *

Листва, листвы, листве, листвою
и о листве, конечно.
О чём ещё тропой лесной,
о чём твердить беспечно?

Какой-то в воздухе изьян,
и в щели ветер веет,
вращает лёгкий барабан
зелёной лотереи.

Сойди с небес мне на плечо,
неведомая птица,
сквозь толщу воздуха ещё
сумеешь ты пробиться.

Ещё увидят нас с тобой
и нас с тобой полюбят,
ещё возьму листок резной
из загнутого клюва.

На север, запад, юг, восток
раскинутся просторы,
и мне достанется листок
с загадочным узором.

Гудит в Земле густой огонь,
кипит бесцветным пламенем,
с зелёной кровью мне ладонь
раскрыта для гадания.

Дай жить, глядеть на белый свет
в природе и в народе,
дай даль, которая на нет
меня сведёт и сводит.

* * *

Дождь переходит в снег, а снег
обводит мелом дороги и кровли...
Мы с тобой давно задумывали побег
туда, где крестьянин свои обновляет дровни.

Нет, наверно, задумывал я один,
прослышав о счастье, покое, воле,
сам себе царь, себе господин,
но — один всего лишь на миг, не боле:

ведь и в глуши очерченных мелом лесов,
застывших с разбегу рек, в тесноте просторов
ты расщепляешься на множество голосов,
ведущих невнятные разговоры и бесцельные споры.

Всё то, что читал, что тебе напевала мать,
что сверстник рассказывал, невпопад, украдкой,
всё это не спит и мешает спать,
листает, нервничает, шуршит закладкой.

Ты тёмную реку переходишь вброд,
ища во тьме огонёк папиросы,
словно на берегу тебя поджидает тот,
кому задаёшь и на чьи отвечаешь вопросы.

При чём здесь крестьянин, и санный след,
и пушкинский почерк, по белому белым?
Татуировка синеет, мол, счастья нет,
а есть только свет и тьма, обведённые мелом.

Мы живём впотьмах, впопыхах, и весь этот мир,
где досужий крестьянин успел обновить свой полоз,
всего лишь эхо, неясный, зыбкий пунктир,
надтреснутый, запинаящийся, негромкий голос,

говорящий чуднóю, чúдную весть
о том, что ты здесь и уже с пути не собьёшься...
— Господи, — пробормочешь, — если ты есть...
И тут же заткнёшься.

В центре циклона

В центре циклона вечер хмур,
заката коса остра,
греют ладони свои Реомюр
с Цельсием у костра.

В центре циклона ложатся спать
не поперёк реки, а вдоль,
и теперь приходится брать
у всего понемногу в долг.

В центре циклона живёт циклоп,
закройщик пространства, глаз-ватерпас,
в руках его книга, это чтоб
вызвать поимённо любого из нас.

В центре циклона мир чёрен и бел,
лампочка в сорок ватт,
и если кто спрятаться не успел,
он, наверно, не виноват.

Кто-то стучит. Президент или ген-
сек желают вернуть билет.
Тени отслаиваются от стен,
куда их впечатал свет.

Кто-то пришёл. Это конь в пальто
переступил порог.
Всё заканчивается, особенно то,
что запасалось впрок.

Приходит сумрак, здесь все свои,
больше двенадцати — говори вслух,
свеча погасла в пещере, и
трижды пропел петух.

Уходят многие, их легион,
но кто-то придёт опять,
и, возвратившись, с порога он
крикнет: «Иду искать!»

Твердеет воздух, а с ним вода,
массивнее выступы темноты,
приходит стужа, она всегда
езде со всеми на «ты».

О, север есть север. Его лёд
плавником шевелит впотьмах,
и у его ледяных ворот
вздывается снежный прах.

Оттуда пурги подступает гул,
мелькают проблески белых крыл,
и там ты увидишь и мгу, и згу,
и это, как его... дыр бул щыл.

Скажи «язык» наоборот,
получится так — «кызя»,
ползёт истории медленный крот,
пространство лежит, сквозя.

О, север есть север. Его гора
свою удлиняет тень,
в болотах вязнут Югра, Угра,
держа по компасу на Мезень,

туда, где зазубренная волна
подходит к берегу налегке,
по фене ботая или на
медвежье-мамонтовом языке.

Она прихлынет и в наш предел,
меж мёрзлых колод и шершавых плах,
неся в костях мезозойский мел,
поскрипывающий на зубах.

Де-юре ныне у нас юра,
и вот убедись, что не в
выси горней, в земле нора,
где горло полощет нефть.

Внутри Земли гудит маховик,
время ползёт под уклон,
из горьких вод встаёт материк,
где нас поджидает клон.

Творения тесный тварный цех,
гербарий хаоса, лона дно.
Врезается вглубь литой лемех,
чтоб приняло смерть зерно.

Врезается вглубь лемех литой,
зерно прорастёт на свет
с гиперборейскою простотой,
неверной, как птичий след.

У каждой твари есть свой двойник,
прорвавший косную мглу,
и я здесь тоже на миг возник
в правом нижнем углу.

Блестит коса, и скрипит стерня,
колосья шуршат в колесе.
Столикий огонь обжигает меня,
и я становлюсь как все:

исчислен, взвешен, насквозь прочтён,
сменивший мильон личин,
в дыму пространства, во льду времён
расплавлен, неразличим.

Вода и воздух, земля, огонь
не спят, не смыкают глаз,
и нам неизвестно, чья ладонь
снова вылепит нас.

Я здесь, я в метро, где бетонный свод,
сумею ли сон превозмочь
до «Улицы Янгеля»? Там вот-вот
веки поднимет ночь.

В ночи мириад световых заноз,
вздыхает живая тьма.
И если спросишь: каков прогноз?
Зима, услышишь, зима.

* * *

Разве я опоздал на пустынный вокзал,
голубиный причал, на заснеженный путь,
где товарный состав разгибает сустав,
на начало начал, на прогон, на финал?
Это мне посигналил стальной семафор
лунно-белым огнём в предрассветном свету?
Разве знаешь хоть что-нибудь ты наперёд,
даже если согласишься назад,
где обманчиво всё и не видно ни зги?
Разве руку твою удержу я в своей,
если кровь разбежится врозь
и лукавая правда стоит за спиной?
Ветер воздуха полную грудь наберёт
и, слепую опору найдя в пустоте,
накренит всю округу, держа небеса,
лязг железа, гул крови, глухой разговор —
черновик этой ночи — всё сразу и здесь.
Снегопад перебелил страницу, начнёт
свой подробный осмотр-пересчёт,
где и мы учтены как спешащие вдаль
вдоль железных путей, меж небесных огней,
между жизнью и чем-то ещё.

* * *

Никогда не отыскивающееся, но вечно искомое,
чьи приметы не вспомнить и не описать внешний вид,
до крови близкое, как летнее насекомое,
чудно-знакомое, как греческий алфавит,
как вся Древняя Греция,
как у Гоголя плеоназм,
волшебное, как эрекция,
инопланетное, как оргазм,
уходящее круто кверху,
но неизменно приводящее вниз,
что же это такое: эхо,
а возможно, и рифма
тихо подсказывают —
жизнь...

* * *

сплюснутый меж мохнатой тьмой и колючим светом ты
всего лишь перепонка колеблемая мембрана
и уж конечно не голос
ты искришь на ветру рябишь как поверхность воды
меняешь свои черты
за каждой тьмою свет за светом тьма
и за средостением ещё одна полость
камень слепой тебе шепчет и ангелы многоочитые тебе поют
и ты уже пресуществлён да и так любой ерундою мечен
после таких перемен как ещё близкие тебя узнают
ведь расстались утром а сейчас — смотри — почти уже вечер
пожива пастыря пьедестал праведника полигон психиатра
персть и прах
сразу же от подошв ты начинаешь граничить
с галактикой и вселенной
атмосферный столб циркачом плотно и стройно стоит
на твоих плечах
как кренится и рушится он когда исполняется срок
твоей оболочке тленной
не раз на дню — как размер стиха —
прихотливо изменится твой почерк
совсем не так начнут выглядеть — например — равнина
и над ней — например — луна
наверно оттого что пласты земли
передвигаются с неиссякающей мощью
словно лопатки совершенно косматого мамонта
или совершенно голого слона
ты дробишься множишься и собираешься вновь один и тот же
и каждый раз по-иному
и непонятно как надо (и надо ли) ибо миг и мир (как всегда)

уже не таков
ведь первое — вот ещё пример — чему
поражаешься выходя из дому —
обилию обликов облаков

* * *

Пока ещё не лёг на снег последний вечер,
пока ещё ледок прихватывает след,
остановись со мной, мой самый первый встречный,
поговорим — пока и воздух есть, и свет.

Пусть в морозный день восходят наши души,
в извечном их родстве свой обретая путь.
Так говорить легко, легко молчать и слушать,
слова находят плоть и раскрывают суть.

За время, что займёт случайная беседа,
неуловимо день изменит свой узор,
здесь места больше нет, исчезли мы бесследно,
но в воздухе пустом всё длится разговор.

* * *

Лёне Бахнову

Помню ракушку и помню липку,
помню то, что я выпил лишку,

помню облака светлый локон,
помню, ветер дверями хлопал,

помню, к осени вода стала прозрачней,
помню кособор над рекой невзрачный,

помню снег, и дождь, и мокрые кровли,
а разве что-то бывает кроме?

Коллаж

Ритм пропорции смысла хранит.
Угадай, в каком ухе звенит,
коли в «Золушке» крысою кучер?
И за гвоздик, забитый в зенит,
зацепилась зелёная туча,
как закушенная губа.
Где-то сбоку пропела труба.
Даже птица, подбитая влёт,
не совсем по прямой упадёт,
как по парусу с ветром скользнёт,
загибаясь, кривясь по дуге.
И Ньютон париком нам кивнёт,
и секунду отмерит брегет.
Раскрутив языка колесо,
чуть спустя рукава закатаем.
Мясо, просо... Ещё что на «со»?
Видно, числится «со» за Китаем.
За Китаем, за жёлтой Янцзы,
где гуляют одни мандарины.
Рифма-буква, а буква та — рцы,
глуховатый напев окарины.
Раскрути колесо языка.
Я и сам неплохой музыкант.
Здесь фермата, здесь кода, а там
притулился сутулый тамтам.
Ремесло — это лодка. Весло —
переводчик воды на движенье.
Наилучшее, ибо без слов,
в небе движется стихотворенье.

Друзьям

светает истончается и тает тьма
свет это единственное что не может свести с ума
что освещать ему всё равно
он льётся всегда
здесь бессмысленно слово давно
он льётся всегда
здесь бессмысленно слово зря
не так как река состоящая из течения и пескаря
он не знает числа
ему непонятна дата
он отвергает правоту циферблата
всё — в остатке — ничто
за вычетом света
надеяв пальто мы утверждаем что кончилось лето
ему наплевать что лето переползает в осень
он сам по себе
и сам по себе он очень
мы тоже отдельно но мы
больше зависим от тьмы
а он вездесущ
он любую кость изгрызёт изгложет
ося лёня серёжа
он нас перетрёт как часов пружины и оси
лёня серёжа ося
въедливей лесопилок крепче камнедробилок горячее плавлен
вот он вползает в окна с виду совсем бессилён
что ему чушь григорианского календаря
серёжа ося лёня
и я

Лермонтовская площадь

Из тьмы троллейбус вынырнул, и встал,
и вновь умчался с дребезгом тележным.
Как подстаканник, круглый пьедестал,
на нём поэт мечтательно-мятежный,
но как бы озабоченный слегка,
что он, как перст, торчит на белом свете,
что оттопырил полу сюртука
весьма кустарно выполненный ветер.
Хотелось бы цитату привести:
жестокий век, надменные потомки, —
но вновь троллейбус, провод сжав в горсти,
мгновенной вспышкой разорвёт потёмки.
Электровспышка застаёт врасплох
(вот так на стенд «Не проходите мимо» —
жестокий век! — снимают вышивох).
И мы уже рассматриваем снимок.
Высотный дом из светло-серых плит,
поёт цикада родом из Тамани,
нет, не цикада — мелочью гремит
прохожий в оттопыренном кармане.
Хотелось бы задуматься, скорбя,
под шелест лип хотелось бы забыться,
но вновь пронзает воздух октября
электроангел с электрозеницей.
Шуршит листва, как будто дело в том,
чтобы цитату отыскать прилежно,
как будто выдан каждой липе том
с закладкой и пометкою небрежной,
как будто бы цитата подтвердит
весь этот мир, что только с бездной дружен,

а пение электроаонид
внесёт гармонию в измученные души.
Нога скользит — как зыбок здесь гранит,
разверзлась пропасть — страшно без привычки,
кремнистый путь над бездною блестит,
и здесь поставить надо бы кавычки.
Прекрасен мир с приставкой электро-,
мир без приставки тоже нам приветен.
И вход в метро и выход из метро —
как ноздри демона, вдыхающего ветер.

* * *

...не взрыв, но всхлип.

Т. С. Элиот

Вот он, вот он, край,
вот он — край всего:
рельсы и сарай,
мачты ПВО.
Кто сказал, что мир
всхлипнет под конец?
Вряд ли этот миг
замышлял Творец,
вряд ли потирал
о ладонь ладонь
и не предвкушал
пепел и огонь.
Чтобы допустить:
мир и город пуст,
надо проявить
выдержку и вкус.
Вопль, огонь и мрак —
это через край,
всё скромнее, как
рельсы и сарай.
Нет, не всхлип навзрыд
и не вихря взмах...

Рябь и плеск воды,
ветер в проводах.

Ночная гроза

С тоскою кочевья,
с натугой корчевья,
томясь электрической силой сухой,
касаясь губами верхушек деревьев,
на крыши вставала босою стопой.
Куда-то всходила, держась за перила,
уступы и арки в себе громоздя,
изломанной молнией вдруг осветила
блестящие мышцы дождя.

Июль

Запад багряный. Вишнёвый восток.
Ветер причудливый, медленный
в небе вращает косматый клубок.
Плод завязался. Согнулся росток.
В памяти устья хранится исток.
В трубках растений запенился сок —
радость пчёлы привередливой.

Остья пшеницы. Синий овёс.
Дроздов суматошливых стая.
Тёмный и тёплый омут и плёс
под напряжением спеющих гроз.
На мочажине в початках рогоз.
Глаза в слюдяных превратились стрекоз
и над лугами летают.

Стебель коленчатый цапельный ржи.
И подорожник овальный.
Норы в обрывах, откуда стрижи
чертят зигзаги свои, виражи.
Переплетение веток и жил.
Озеро в травах ленивых лежит,
как инструмент в готовальне.

Утренний дым. Вечерний туман,
дальней грозою чреватый.
Воздух в листве открывает изъян.
Полой травы невесомый орган.
И ежевичный колючий капкан.
Конского щавеля ржавый султан.
Картошки цветок лиловатый.

Медленный ветер над лесом и лугом.
Длинной волны смех или плач.
Куст водяной принимается хлопать.
Вспаханы воды невидимым плугом.
Выгнется речка подковой и луком.
На берегу с восклицательным клювом
грубо оструганный грач.

Выше же — сосен кора золотистая,
кроны слоисто-зелёной пятно
сливается с тучей над старою пристанью,
речною рябою излучиной чистою,
где тонкая молния, длинно-ветвистая,
что глянет мгновенно и пристально,
корягою ляжет на дно.

Звезда

Глядящая с высот, с немислимым наклоном
к поверхности земли, так чуждая земле,
холодная звезда взошла над нашим домом,
холодная звезда в холодном феврале.
И что нам до неё средь прочих тел небесных,
но, увидавши раз, мы глаз не оторвём:
ей снится наша жизнь, дохнувшая сквозь бездны,
достигшая её своим скупым теплом.
Здесь в скрепах ледяных, снегами запорошен,
ветрами просквожён, лежит земной простор,
а в том далёком сне отчётливей и строже
сплетается судеб загадочный узор.
Здесь речка подо льдом полна заноз железных,
ушла в свою печаль, не помнит ни о чём,
но тонкий свет звёзды, легко презревший бездны,
пронзил во всю длину мерцающий объём.
На нас глядит звезда, нам укрупняя зренье;
куда нас повлечёт неведомым путём
холодный этот луч и света дуновенье?
В светящейся реке без берегов плывём
на зыбкий этот луч, на этот свет тревожный,
жизнь бесконечна и — в одном мгновенье вся.
Куда глядит звезда? Куда спешит прохожий,
дыханья ломкий куст сквозь стужу пронося?

Купание в озере

Для рыб я птица, а для птиц я рыба.
И озера мерцающая глыба,
растущая из бьющего ключа,
колеблема движением плеча.
Вода причудлива и каждый миг иная,
шершавая, угластая, прямая,
секундою и вечностью живёт,
и синий мрамор неба отражая,
и стрекозы мигающий полёт.

Кузнечик

Кузнечик дорогой, коль много ты блажен...
М. В. Ломоносов

Что, кузнечик, молчишь?
В глушь забился и тишь
воле своей вопреки.
Петь теперь не с руки
в травах возле реки,
словно не свой на склонах
в кирасе светло-зелёной?
Знать, не принёс успех
рыцарский твой доспех,
крылья твои оплечь,
твой хитиновый меч,
поднятое забрало,
жвала твои, кресала...
Всего оказалось мало?
И перемкнул мозжечок,
всё, отныне — молчок?
Но кто бы там ни был ты,
не грубы твои черты.
Смотри, бороздя поля,
дольней стезёй пыля,
супесь мяса, глинозём,
дымом дыша, огнём,
трактор ползёт, спесив,
в общих чертах схватив
поджарый твой конструктив,
твой нехитрый мотив.
С угарным выхлопом труб,
вроде и груб, и туп,
и вечно в своей пыли,
но всё ж тарахтит вдали.

А ты словно тать в ночи.
Ты тоже пострекочи,
уравновесь всю мощь
этих лесов и роц.
Слушай, возьмишь за дело,
или не накопело?
Оставь молчание для
безмолвного голавля.
Даже комар поёт,
к нам устремляя полёт,
а после — по крови брат —
звенит, уходя в закат.
Скачи, не жалей хитин,
сам себе господин.
Зноем весь одурманен,
в профиль как египтянин,
пой, остри глазомер,
в разряд не входи химер.
Разве иначе найдёшь
росчерк твой, твою дрожь,
если только спугнёшь.
Ты весь из земного праха,
а как зелена рубаха.
Сча́слив или сча́стлив —
вот примерный мотив.
Можно ль уйти, не сумев,
спеть свой напев?
Гляди, среди древесных тел
лист уже пожелтел.
Зная всё наперёд,
прячется твой народ
в складки коры и в мох,
дальше — рассудит бог.
Вскоре все мжи и га,
эти луга, стога

насквозь продует пурга,
сплошь заметут снега.
В эту суровую весть
ты умечаешься весь.
Ведь беспощадный лёд
стрекот твой оборвёт,
сумрачный ледостав
навек замкнёт уста,
скуёт коленный сустав.
Грустный императив
этих полей и нив.
А полчища белых мух
не услаждают слух.
Полно, кузнечик, нам
прятаться по углам,
в тонком золоте трав
ты совершенно не прав.
Играет травы орган
что-то про инь и янь,
что-то про сон и явь.
В пору холодных снов
светится меж снегов,
пусть и под волчий вой,
серебряный стрекот твой.
В этой живой волне,
в этой тёплой возне
не пропадай, кузне...
ты ведь не зря возник...

..... чик.

* * *

Как жука из коробки,
достаю очередное слово
с усиками суффиксов,
рогами приставок,
золотым хитиновым корнем,
перламутровым окончанием.
По всем законам физики
оно не может летать.
И всё же взлетает,
оставляя стремительный росчерк,
и гудит, и жужжит, и стрекочет.
От Белёва летит до Формозы,
совершая метаморфозы,
во мрак впивается шутихою хвостатой,
царапиной, цикадою, цитатой;
светящиеся петли этих странствий
загадочней каналов марсианских.
И не сгорает, не сгорает, вовсю горя,
как Фет сказал: а жаль того огня...

Всё остановится. Всё перестанет длиться.
А оно всё будет летать, трепетать, светиться...

Мыс Меганом

Иосифу Фридману

Глядим весь день на Меганом,
лежащий на воде дремотной.
На нём небесный агроном
не утруждал себя работой,

не засевал и не полол,
не сдабривал поливкой рьяной,
чтоб он глаза мои колол
сухим хребтом среди тумана.

О Меганом, каким огнём
опалены крутые плечи?
Сухих пространств, пустых времён
ты памятник или предтеча?

О чём молчит, зачем дано
тебе могучее бесплодье,
зачем не брошено зерно
тебе в небесном огороде?

А к ночи птица полетит
на бурые, сухие склоны
и ничего не прокричит,
покинув тихий куст зелёный.

Она летит как острière
стрелы, невидимой в движенье,
ещё бесшумней, чем её
в воде солёной отраженье.

Луна восходит, вечер тих,
о камни волны бьются глуше,
глаза чудовищ водяных
глядят на выжженную сушу.

* * *

Он так легко шагал,
нащупывая тропы,
тот, кто пленил, украл
Елену ли, Европу.

И как ему потом
плылось, и море пенилось.
И на хребте литом
покачивалась пленница.

Он слышал робкий вскрик
и видел близко-близко
прекрасный бледный лик
в солёных крупных брызгах.

* * *

Проговори: море. Ещё раз:
море. Берега полоса.
Слышит ухо, и видит глаз,
и нестройно шумят голоса

живых и тех, кого уже нет,
делая вдох у скал,
вдруг понимаешь — крикнуть привет
грудная клетка узка.

Небесная твердь, и водная гладь,
и горизонта кольцо.
Смотри, как волны уходят вспять,

и на жизнь не сетуй за
то, что увидеть твоё лицо
можно, только закрыв глаза.

* * *

Сутулый поплавок в воде увяз по плечи,
намечен чуть пейзаж откосов и лугов.
Какой-то ночедень — не утро и не вечер,
запаяна вода по кромке берегов.
Откосов и лугов, узлов и тайных петель
не отразит вода недвижимой реки.
Все снасти, все крючки, все невода, все сети,
насторожившись, ждут — все снасти, все крючки.
Всё сбудется, придёт, всё вновь на место встанет,
забудется, уйдёт и унесёт с собой,
останется, пройдёт... О, это трепетанье,
удилище творца согнувшее дугой.

Цветок

У кладбища, где смерть легка
и жизнь покажется несложной,
цветок искусственный с венка
блестит в канаве придорожной.

Там пчёлы радостно гудят,
кипрея розовая пена.
О, как он раздражает взгляд
свою фальшью откровенной.

Моторов хрип да меди лязг
тревожат жаркий день тягучий.
Он, как заноза, впился в глаз
и бережит его и мучит.

Цветок, шершавый, как наждак,
багровый цвет его неистов.
Сама лишь смерть вот так чужда,
как анилиновые листья.

И он под солнечным лучом
в потоке времени влачится.
...Смят ветром, выбелен дождём,
почти живым уже глядится.

напиши хотя бы пару строчек
так — без запятых и точек
жизнь замысловатая как лекало
кажется уходит в своё начало
отражается сутулая тень человека
на шершавой холстине нового века
среди осени вдруг летний полдень
соверши свой последний подвиг
подвиг — то что не имеет меры
ни в конце ни в начале века эры
по щеке осенней пчела золотая
мне не надо ада не надо рая
лишь бы всё закончилось ладом и миром
дни идут и уходят слепым пунктиром
в то пространство где нет места зрячим
там ничего не ищут и ничего не прячут
внутри смотри забудь про земное зренье
слушай птиц бесшумных беззвучное пенье
ничего не остаётся лишь тьмы сиянье
да песка сухое меж пальцев шуршанье

* * *

Вдоль по обочине грязи брильянты,
мёрзлых полей домотканых холстина,
солнце сквозь облако, как у Рембрандта
крепкая пятка блудного сына.

Манят поля, эти пажити, просеки,
красный, немного всплакнувший суглинок,
венецианские синие проблески
с охрой голландской, фламандским кармином.

Было легко и с водою проточною,
с ветром, от стужи сутулым и пьяным.
Время струилось часами песочными,
жизнь прошуршала по колбам стеклянным.

Всё позади — и вокзалы, и палубы,
угли костров и остывшие клятвы,
на горизонте леса словно жалобы —
так же протяжны и так же невняты.

В общем, ни прибыло жизни, ни убыло,
да и неважно, чуть больше, чуть меньше,
чтобы в хламиду отцовскую грубую
крепко уткнуться лицом помокревшим.

* * *

Отнюдь не подступающая нищета,
а то, что не получается ни черта;
что не входят слово и строчка в паз,
что Ничто вокруг разевает пасть,
что Нигде оказывается тут как тут,
Никогда своих не развяжет пут, —
так мешают жить, как пальца порез:
ушибаешь всегда, куда б ни полез,
хоть в зазубрины времени, чей ход
стучит куда-то наоборот,
уволакивая тебя, как мышь в нору
кухонный трофей: не вру, умру.
Живёшь, как в курьёзе одной строки,
для запятой не хватает длины руки:
помиловать нельзя казнить,
вот и утеряна смысла нить,
что-то там про порез и паз
в бред ли, в сон завело рассказ,
только знаю, даже не открывая глаз:
свет стоит в окне, озирая нас.

Марк Шагал

Длинный день и синий сон,
пёстрый сон, его приемлю.
Упиралось колесо
в неподатливую землю.

Гонит кто тебя в путь длинный,
коренастый Вечный Жид?
И в утробе кобылиной
жеребёночек лежит.

Сопрягают мышцу с кругом,
запрягают жеребца,
сыромятную подпругу
продевают в два кольца,

облекают душу телом,
разворачивают кнут,
поначалу оробело,
словно женщину берут.

Месяц — оттиском подковы,
он над Витебском склонён...
Этой кисти колонковой
полюявь и полусон.

Как назвать его — не знаю,
он рассеян и сыпуч.
Синема игра цветная,
жизни мечущийся луч.

Всею натугой сухожилий,
в капиллярах щёткой кровь,
или жили, или жилы,
жилы, жили — вновь и вновь,

и ещё — как из скворешни,
глаз, запёкшийся в лицо,
аккуратный и кромешный.
Темя узкое. С лысцей.

* * *

У тебя ничего нет,
или плохо будет тебе иначе,
ты бескорыстен, как табурет
или как солнечный свет незрячий.
Ты скользишь под ним, как по реке плот,
без руля и без мысли задней,
ибо есть ещё жизни свет, тот
будет солнечного побеспощадней.
Он сочтется через кривой порез,
мироздания косую щель,
но при нём ты можешь говорить без
посредников, говорить вообще.
О том же табурете или о
противоречиях бытия,
о том, усядется ли миллион
ангелов на кончике остря,
так что сперва погляди в окно,
как там расположился свет,
и ещё: запомни одно —
у тебя ничего нет.

Ночлег в пути

Твержу: забудется, запомнится,
клублюсь чужими голосами,
в слепое зеркало бессонницы
гляжу закрытыми глазами.

В чужом дому — чужие отзвуки,
течёт луна по скатам крыши,
и души всех — живых и отживших —
поют, а вот о чём — не слышу.

Ночлег в пути... Я это листывал
и даже читывал немного —
равнина и река петлистая
да плюс железная дорога,

и этот хор — живых и умерших,
и тяжкий перестук железа —
состав, вконец ополоумевший,
вдоль эту полночь перерезал.

Но ясно даже мне — не местному
и не пришедшемуся впору,
что не помеха он чудесному,
и впрямь божественному хору...

Немое кино

Дождик прошёл, второпях, между делом,
только и помню — ночное окно
да мельтешенье картин чёрно-белых,
словно смешное немое кино.

Что в нашей памяти? Только прорехи
и на воде ледяные круги.
Сонный трамвай эту ночь переехал,
искры посыпались с чёрной дуги.

Светит фонарь, переулок забрызган
люминесцентными каплями слёз.
Слышно, как тихо жужжат механизмы
старой, обманчивой фабрики грёз.

Мельница снов, световых перебоев,
годы мелькают быстрее, чем дни.
Что ж, перематывай свой целлулоид
и обмани, ещё раз обмани...

Пригород

За город, где пространство и время живут в ладу,
где тяжёлые яблоки ветви сгибают в саду.

Где, кущи помяв, а мрачные чащи излазав,
заметишь скворечник с единственным тёмным глазом.

Кто-то шумный проходит в конце аллеи,
папиросным огоньком вдалеке алея.

Пахнет вареньем, пылью, морем голубым,
и над тёплой травой стелется бледный дым.

Ветер на дороге шуршит газетой,
и этот такой домашний, очеловеченный звук

заставляет озябнуть легко одетых.
А за лесом крик поездов упруг.

В общем, это благодать и вершина лета.
Чтобы не портить настроенья
и хорошим всё завершить концом,

мелькают летучие мыши, им не надо света,
и следствия причинам встают в затылок лицом.

Свет

Осенний день, но осень
сдаёт свои права.
Иней словно проседь,
ломкая трава.

И воздух словно взвешен,
и постепенно в нём,
над полем опустевшим,
за глиняным бугром,

нетронутые ветром,
из одного куска,
все в переливах света,
вспухают облака.

Неярок он и млечен
свет тот неземной,
словно мир подсвечен
грядущую зимой.

* * *

Что-то вдруг промелькнёт в суете,
с суетою настойчиво споря,
так ревущий прибой в темноте
говорит об огромности моря.
Отвлечённость больших величин
только малостью можно измерить,
есть ведь тысяча разных причин
и в бессмертье, и в вечность не верить.
В кроне вылеплен ветра полёт,
бесконечное небо подробно,
и прозрачное время течёт
во все стороны, шару подобно,
возвращается вспять, дорожит
облаков кучевой кутерьмою,
так и море куда-то спешит
по пятам за самим же собою.
Словно в жилах бегущая кровь
всё гудит и никак не уймётся,
то рассыплется вечность, то вновь
из песчинок и брызг соберётся.
Этот мир и живёт в мелочах,
в пустяках и пустых разговорах,
в соразмерности разных начал,
в равновесье души и простора.
Тяжкий рокот ночной, этот вой
перемен и несчастий предвестье.
А наутро посмотришь — покой,
каждый камешек вроде на месте.

Содержание

«На земле, на воде не оставишь следа...»	3
«Никогда не пора...»	4
Буквы	6
«Жил Пьеро на станции Перово...»	8
«День начинается...»	10
«Тупить конкретно, реально глючить...»	11
«Я не знаю: не сплю или всё же уснул...»	12
«Ночью, под боком Москвы, куда...»	14
«Дно колодца мерцает, дробится — то ли...»	15
«Я сослан в немоту, туда...»	16
«Не помня про меня...»	18
«В притихшем парке вдалеке...»	19
«Ночная река, расширяясь...»	20
«Как рыбы, вливаем в пятно зари...»	21
«Прощай, прощай... Я не вернусь назад...»	22
«Последний трамвай, золотой вагон...»	23
«Листва, листвы, листве, листвою...»	24
«Дождь переходит в снег, а снег...»	26
В центре циклона	28
«Разве я опоздал на пустынный вокзал...»	32
«Никогда не отыскивающееся...»	33
«Сплющенный меж мохнатой тьмой...»	34
«Пока ещё не лёг на снег последний вечер...»	36
«Помню ракирку и помню липку...»	37
Коллаж	38
Друзьям	39
Лермонтовская площадь	40
«Вот он, вот он, край...»	42
Ночная гроза	43
Июль	44
Звезда	46
Купание в озере	47

Кузнечик	48
«Как жука из коробки...»	51
Мыс Меганом	52
«Он так легко шагал...»	54
«Проговори: море. Ещё раз...»	55
«Сутулый поплавок в воде увяз по плечи...»	56
Цветок	57
Millennium	58
«Вдоль по обочине грязи брильянты...»	60
«Отнюдь не подступающая нищета...»	61
Марк Шагал	62
«У тебя ничего нет...»	64
Ночлег в пути	65
Немое кино	66
Пригород	67
Свет	68
«Что-то вдруг промелькнёт в суете...»	69

Геннадий Калашников. В центре циклона

редактор:

А. Переверзин

корректор, технический редактор:

О. Тузова

издательство «Воймега»

voymega@yandex.ru

alkonost.mail@gmail.com

Подписано в печать 25.12.2017

Формат издания 60x90/16. Усл. печ. л. 4,5

Тираж 500 экз.



Геннадий Калашников родился в 1947 году в городе Белёве Тульской области. Окончил филологический факультет МГПИ. Ездил в геологические и археологические экспедиции, работал социологом, редактором. Первая публикация стихов — в журнале «Юность» (1971). Также печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Новый берег», «Грани», в альманахах «День поэзии», «Паровоз» и других; стихи представлены в антологиях «Русская поэзия. XX век» и «Русская поэзия. XXI век». Переводил поэзию народов СССР. Автор книг стихов «Ладонь» (1984), «С железной дорогой в окне» (1995), «Звукоряд» (2007), сборника стихов и прозы «Каво люблю...» (2017). Член Союза российских писателей. Живёт в Москве.